

Анна Михалевская

## ВНУТРЕННИЙ ГОЛЬФСТРИМ

В том апреле на берег выброился дельфин. Мы приходили к нему, словно к божеству, и подолгу смотрели, пытаясь понять суть неведомой жертвы. Обессиленной лапой прибор хватался за дельфиний хвост и отступал, шипя от злости и сожаления.

Тушу убрали не сразу — тогда и город, считай, не убирали. Но кого это волнует в семнадцать лет? Мы видели красоту в парящих полиэтиленовых пакетах и слышали музыку в перестуке консервных банок. Мы сбегали из дома — хоть на час к морю, — окрыленные весной и свободой, дышали жизнью, как приключением. И сами не понимали, что счастливы.

Наша четверка устроилась на Желтом камне: Влад, Толик, Кристи и я. Огромный камень разделял два пляжа и стоял у самой воды. Сверху казалось, что плывешь на корабле — впереди было только налитое синью вечернее море, тонкий ломтик луны, отрезанный чьей-то бережливой рукой, да крошки звезд, рассыпанные по скатерти неба. Фривольный морской ветер пробирался под легкое пальто. Распущенные волосы трепало, я терпела ради красоты и старалась не думать, как их потом расчесывать.

Дописав последние слова, поставила подпись и дату. Толик потянулся за листом, внимательно прочитал, вода фонариком по строчкам. Он это все и придумал — он всегда думал на шаг вперед. И если Толик опаздывал на час или даже на два, все двадцать человек компании ждали его, ругались, но ждали. Ибо он один знал верную дорогу, и мы это чувствовали.

Увидев дельфина первый раз, Толик сказал:

— Когда-нибудь наша дружба закончится. Навалятся взрослые дела, семьи, заботы...

Слова звучали предательски. Я попыталась успокоить — не столько его, как себя:

— Будем жить в одном доме. Ходить друг к другу в гости.

Толик хмыкнул. Даже не стал спорить...

Он подхватил с камня пустую бутылку из-под шампанского и протиснул туда листок с нашими клятвами в вечной дружбе.

Кристи тихо пела, подыгрывая себе на гитаре:

*А моря до краев наполнялись по каплям,  
И срослись по песчинкам камни,  
Вечность — это, наверно, так долго<sup>1</sup>.*

Ей не мешали ни ветер, ни наша суета. Кристи вообще мало что волновало, кроме музыки и стихов.

А Влад маялся от безделья. Он отработывал на мне приемы айкидо, лихо выкручивая руки и рассказывая о философии слияния с атакой противника. Вскоре Владу наскучило сливаться с моей вялой атакой, он выхватил у Кристи гитару и принялся брэнчать на одной струне — так ему нравилось.

Наконец Толик закупорил бутылку с ценным посланием и передал Владу. Зашвырнет так зашвырнет, понадеялись мы на философию айкидо. Но встречный ветер ничего про эту философию не знал — бутылка плюхнулась в воду в паре метров от подножия камня. А волны выбросили ее на берег. Словно горькое лекарство, море выплюнуло наши клятвы еще пару раз, но потом все-таки проглотило.

\* \* \*

Замерев перед дверью квартиры, я напряженно вслушивалась. В глубине ее кухонного нутра гудел спор.

— Га-Ноцри не слаб, он свободен от желания быть сильным! — хо-рошо поставленным голосом школьного учителя говорил дядя Вова.

— Вова, борщ остыл! — переживала мама.

— Я не оправдываю Пилата, но сила на его стороне. И власть, кстати, тоже... — возражал папа.

Значит, начали с Булгакова. Скоро на Блока перейдут. Закусят Маяковским. Воспитание Бориса Ефимовича Друккера давало себя знать. Я закончила ту же, 118-ю школу, но намного позже дяди Вовы — нас, перестроечных детей, уже некому было воспитывать. Мы развивались сами — зигзагами, петлями и долгими обходными путями.

---

<sup>1</sup> Флёр, «Шелкопряд».

Я тихо проскользнула в коридор — вдруг не заметят? А то влетит за поздние прогулки по первое число. Если еще и следы от ботинок на подоконнике увидят... Но весна, сирень — не предавать же такой вечер ради глупых правил.

— Где была? — строго спросила мама, поглядывая на папу.

Тот перестал улыбаться и насупил брови — мол, воспитывает дочь.

Дядя Вова в переглядываниях не участвовал, он шагнул вплотную и взялся за пуговицу пальто. Это означало: дядя Вова будет говорить. Его лицо приблизилось, я различала лишь отдельные детали — глубокие морщины, крупный нос, цепкие темные глаза, непроницаемые, как ночное море. От дяди Вовы пахло коньяком и грустью.

— Ничего не бойся. И не давай себя сломать.

Ответа дядя Вова не требовал — можно было кивать и ждать, когда он отпустит пуговицу. И все же — я уважала его за свободу мысли и всегда старалась понять.

— Одиночество — та еще гадость, любочка! Но каждый висит на кресте сам. А потом, если повезет, это кого-то спасет.

Мама охнула, папа взял дядю Вову под локоть. А тот все изучал мое лицо — будто искал в нем свое забытое, безвозвратно утраченное... И только когда я кивнула, отпустил пуговицу, позволив папе увести себя на кухню.

Путь в комнату открыт — взрослые заняты разговорами, им в кои-то веки не до меня. Но спать не хотелось. Мое будущее бурлило мечтами: я представляла, как отправлюсь в леса Южной Америки или в Антарктиду и сделаю что-то важное для людей. А одиночество... Оно существует?

Не в правилах дяди Вовы было сворачивать с дороги. В начале девяностых его семья и друзья разъехались по всему миру, а дядя Вова остался в Одессе. До неудобства честный человек, он был честен и с самим собой. «Что я там потерял?» — говорил он. «Приедешь, найдешь!» — отвечали родные и отводили глаза...

Он жил в прокуренной квартирке на Малой Арнаутской — стеклянная дверь с занавесками, скрипучие деревянные полы, книжные шкафы до потолка, портрет Блока в прихожей; здесь мать и тетя вырастили троих детей — сами, оплакав погибших на фронте отцов. В эту квартирку он привез с институтской практики из села тридцать учеников — показать Одессу. Всем нашлось место — даже дочери тракториста, которую Вова пылко полюбил вопреки запретам мамы и тети...

Со временем он устроился в одесскую школу, учеников называл «мои дети» и переживал, как за своих. Мирил с родителями, вытаскивал из передряг, помогал стать на ноги. А чего стоили его уроки истории — ученики строились «свиньей», «клином» или «каре» и начиналось настоящее сражение, за которое потом дядю Вову не раз вызывали на ковер в районо. «Дети» выросли и приходили в квартиру на Малую Арнаутскую, как домой, — устраивали дяде Воле праздники, заботились о его буднях. И всем по-прежнему хватало места. Ночами своего единственного и краткого супружества дядя Вова читал любимой стихотворения — Евтушенко, Рождественский, Есенин, Пушкин, Бродский, Пастернак... — летние ночи были долгими, а память дяди Вовы исключительной.

Разве такую жизнь увезешь с собой в эмиграцию? Дядя Вова врос характером в одесскую землю, в ее поэзию и прозу, в работу, в учеников, в море, в послевоенную разруху детства, в разруху девяностых на пороге старости — его, родное, единственно правильное.

\* \* \*

Безумная идея жить в одном доме все-таки осуществилась. Мы год снимали квартиру — она стала нашим лобным местом. Дверь потрепанной «чешки»<sup>2</sup> не закрывалась — бесконечным потоком шли друзья. На завешанной плакатами аскетичной кухне Кристи пела свои новые песни. Влад занялся фехтованием; рапиру он, к счастью, при себе не носил.

Толик перестал нас куда-либо вести, лишь изредка подталкивал:

— Дашка, уйти из дома — еще не самоцель. Для чего ты живешь? — говорил он мне.

— Кристи, твои песни должны звучать из каждой второй форточки Одессы. И то, потому что первая закрыта.

— Влад, когда найдешь работу?

Даже этих кратких вопросов хватало, чтобы заставлять нас искать и пробовать.

Свобода уже не казалась такой блистательной, ее основательно подгрызли мыши самостоятельной жизни. В приятном опьянении от терпкого красного, в разгар веселой перепалки, когда один начинал

---

<sup>2</sup> Квартиры в одесских девятиэтажных домах, построенных по чешскому проекту.

фразу, а другой продолжал, или в наполненном смыслом молчании — я вспоминала дельфина и дядю Вову. Оба плыли против течения. Для них это было важно. А что важно для меня?

Через несколько лет Толик уехал в Штаты. Он решил стать режиссером, не осознавая до конца, что уже режиссирует наши жизни.

С его отъездом что-то сломалось. Нет, мы по-прежнему встречались — но пустоту стало нечем заполнить. Молчание было теперь лишь молчанием. И оборванные фразы никто не продолжал.

\* \* \*

Дядя Вова часто навещался к родителям. На Пасху он приносил мацу, а на Рождество садился во главу стола и первым поднимал бокал:

— Так давайте выпьем за великого человека, который родился две тысячи лет назад, чтобы спасти человечество!

Вот и сейчас неверующий еврей произносил проникновенную речь во славу христианского сына божьего. Никого это не удивляло — в доме праздник. Я любила гостей. Люди улыбались, шумели, горели глаза, звучали тосты, дарились подарки. В этой звенящей суете, в калейдоскопе лиц я забылась. И одиночество, в которое раньше не верила, отступило.

Как бы просто дядя Вова ни говорил — сразу его не поймешь. Что-то оседало на пуговицах, которые он так крепко держал, и доходило уже потом, когда наталкивалась на похожий взгляд. Вопреки логике и обстоятельствам я упрямо шла своим курсом — но пока это никого не спасло.

Поздно вечером, когда гости уже разгулялись, но еще не разошлись по домам, дядя Вова вышел на кухню, зажег сигарету, затянулся. Я поставила последнюю тарелку в сушилку, вытерла руки о передник.

— Любочка... — начал он и, выпустив клуб дыма, сощурил глаза.

— Знаю, свой крест и все такое...

— Ничего ты не знаешь... — Дядя Вова крепко сжал локоть и цепко, как умел только он, поймал мой взгляд.

— Вова, не травми ребенка, иди на улицу! — На пороге кухни выросла мама и расставила жизнь по местам.

Дядя Вова медленно разжал хватку на моем локте, опустил голову и вышел дымить в палисадник.

\* \* \*

Желтый камень все еще походил на корабль. Только мы уже не годились ему в капитаны.

Море осторожно гладило каменные лапы, притворяясь со всей хитростью, на какую способна вода, кротким и сговорчивым. Но под тонкой, податливой гладью сотни сотен лет шла невидная кропотливая работа — вода отбирала камень себе, заращивая его мхом и водорослями, насылая на него крабов и мидий, сковывая льдом, врезаясь прибоем. Море умело великодушно уступать — оно знало, что сильнее, оно знало, что все происходит по его воле.

Толик прилетел в гости из Штатов, и мы снова сидели здесь, на вершине Желтого камня, растерявшие весь свой взрослый опыт, беспомощные и глупые — еще беспомощнее и глупее, чем были пять лет назад.

— Ты доволен?

— Да, — поспешно ответил он и добавил: — Наверное. Столько всего поменялось.

Сказал и посмотрел на меня чужими глазами. Жизнь Толика действительно поменялась. Он много работал, играл в театре, снимал клипы. Все такой же увлеченный поиском смысла Толик, но уже не наш. А мы для него? Наверное, застряли в прошлом, как залегший на дне моря реликтовый лес.

— Что Кристи? Влад?

— Песни Кристи звучат из каждой второй форточки Одессы. И даже Украины. Влад теперь инструктор по серфингу. Катает всех под парусом. Серега играет в рок-группе на басу, недавно был концерт...

Рассказала про всех друзей и знакомых, до кого дотянулась память. И я видела — даже в сумерках, — как жесткий профиль Толика смягчается, и на лице мерцает улыбка.

— А ты? — вдруг спросил Толик.

— Пишу сказки...

— Здорово! Только про меня не пиши!

— Угу, — пообещала и решила, что обязательно напишу.

Толик рассмеялся и крепко обнял — так же крепко, как дядя Вова всегда держал пуговицы.

Что прожито по-настоящему, не может исчезнуть, дошло до меня. Мы знаем, как это — идти по одной дороге, дышать в унисон, угадывать

мысли друг друга. Мы знаем, как это — постоянно искать свой путь и задавать вопрос: кто я. Неважно, что мы сейчас порознь, важно, что научились этому вместе...

Потянувшись за сумкой, я достала пустую бутылку из-под шампанского. Ну, почти пустую.

— Наши клятвы в вечной дружбе? — удивился Толик.

— Пять лет назад море не засчитало попытку. Я подобрала бутылку на следующий день. Попробуем еще раз! — И что есть силы замахнулась.

Метать мячи я категорически не умела, но бутылка улетела неожиданно далеко и с тихим всплеском ушла под воду.

Ошарашенная, я оглянулась на Толика.

— Делай добро и бросай его в воду. — Он пожал плечами.

Я всегда считала, что дядя Вова плыл против течения. Как и тот дельфин, что выбросился на берег. Но это не так: они держались своего внутреннего Гольфстрима.

